

1

Я томлюсь у доски. Пишу доказательство этой несчастной теоремы, но получается не то, что нужно; стираю написанное сухой тряпкой и снова пишу, и с ужасом замечаю, что опять получается не то, и снова стираю. Белая меловая пыль носится вокруг меня, от нее щекотно в носу и першит в горле. Я весь в белом, как мельник. За спиной тревожно замер класс, затих Борис Александрович. А я снова пишу на доске какую-то белиберду и боюсь оглянуться, боюсь увидеть лица ребят и особенно — лицо математика.

Идет последний, контрольный опрос перед концом четверти. Решается судьба самой важной для меня оценки. Решается — быть или не быть. И вот на тебе — так глупо, так примитивно попался. Ведь я наизусть знаю ее, эту теорему. Но рука почему-то выводит на доске глупые, скачущие строчки:

Жил-был на свете
Серенький котик,
Серенький котик
У девочки Жени...

В голове противный пустой звон. Ни единой мысли нет в голове, только эти проклятые строчки.

Что же это со мной творится, что?

В классе грозная тишина. Даже математик не приговаривает как обычно: «Так-так-так...» и

не стучит пальцами по столу. Хоть бы застучал, хоть бы кашлянул, хоть бы скрипнул стулом...

А за окном уже вечереет и стоят печальные, поникшие клены на пустынном школьном дворе.

Только бы не увидел Борис Александрович то, что я вывожу на доске. Я пытаюсь заслонить написанное своим телом, стираю прямо ладонью, но пальцы, пересохшие от меловой пыли, издеваясь надо мной, снова выписывают:

Жил-был на свете
Серенький котик...

Тишина сзади становится еще глубже, еще острее. От нее замирает тело, приостанавливается дыхание.

...А может быть, я схожу с ума?

Может быть, все ребята, и девчонки, и Борис Александрович видят это и оттого так страшно молчат?

Я сжимаю мел в кулаке и, глубоко вздохнув, оборачиваюсь.

Класс пуст.

Тусклые, затянутые пылью парты стоят тремя мертвыми шеренгами. Серой пудрой припорошен учительский стол. К нему плотно придвинут стул, залитый чернилами. На стене вместо портрета Ньютона картинка с двумя купающимися девочками и немецкой надписью: «Анна унд Марта баден». Кто ее принес сюда? Для чего? Никогда раньше в нашем классе не было этой картинки.

Я прислоняюсь спиной к доске. Жуть ползет ко мне из серых углов. Ноги словно приклеились к полу. От затылка к лопаткам опускается мелкая дрожь. Мел выпадает из моей руки, катится по полу, и стук его похож на треск мотоцикла.

Невидимый Борис Александрович хватает меня за плечи и сильно встряхивает.

— Повестка! Ты слышишь? Повестка!

Я пытаюсь вырваться из его рук, но он холодными проволочными пальцами снова хватает меня:

— Повестка!

Я делаю рывок назад, ударяюсь головой о доску и открываю глаза. Надо мной стоит мать. Это она сдернула с меня одеяло. У нее бледное, испуганное лицо. В руке голубой листок бумаги.

Я ничего не понимаю спросонья.

— Да повестка же! — повторяет мать. — Распишись. Он ждет.

— Кто ждет? Какая повестка?

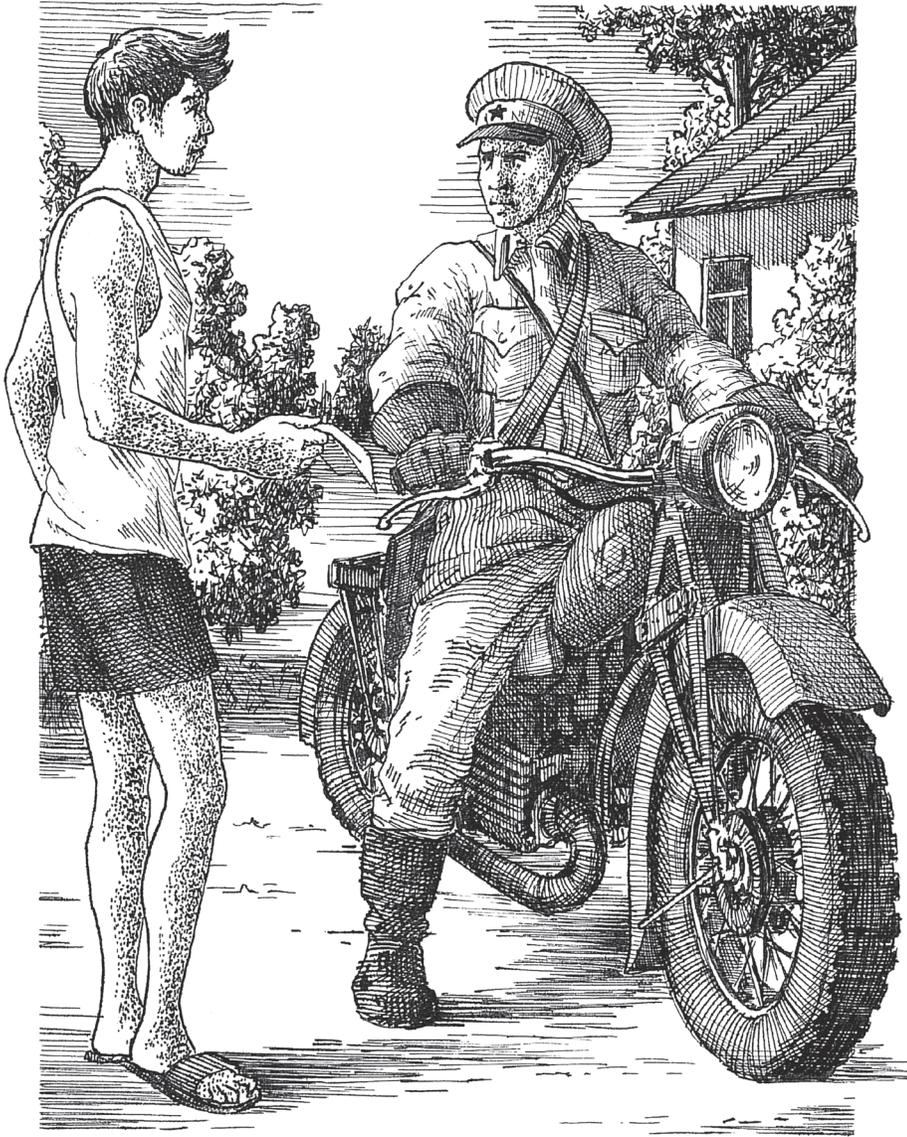
— На войну, — говорит мать, и голос у нее странно сдавлен.

Листок у меня в руках. Маленький голубой листок. В промежутки между типографской печатью фиолетовыми чернилами вписаны слова. Вписана моя фамилия.

Гражданину Пономареву Иллариону Алексеевичу надлежит в шестичасовой срок (до 16.00) явиться в городской военный комиссариат, улица Красная, 10. В случае неявки — ответственность по закону военного времени.

Иметь при себе приписное свидетельство, кружку, ложку, полотенце, мыло, зубную щетку, смену белья и двухдневный запас пищи.

Военком подполковник Коростелев.



— Распишись здесь. — Мать тычет пальцем в отрывной талон.

На корешке повестки так и напечатано: «Отрывной талон. Возвращается в военкомат».

Я шлепаю босыми ногами к письменному столу, ищу среди старых школьных тетрадок карандаш. Мельком взглядываю в окно.

У плетня нашего сада, у самой калитки, стоит серый от пыли мотоцикл. В седле, опираясь одной ногой о землю, сидит военный в зеленой фуражке. Фуражка придерживается ремешком под подбородком. Гимнастерка крест-накрест перехвачена ремнями. В выцветшей зеленой петлице тускло светится красный треугольничек. Значит, это младший сержант. Лицо у него темное, обточенное ветром, застывшее. Он ждет, слившись со своим мотоциклом, безразлично глядя в наш сад серыми, усталыми глазами.

Я нахожу карандаш, царапаю на талоне повестки свою фамилию. Грифель ломается на росчерке. Я смахиваю обломок на пол и как есть — в трусиках и майке — выбегаю во двор.

Мотоциклист протягивает руку в черной краге. На меня он не смотрит. Видимо, ему до чертиков надоело все это. Видимо, он с рассвета гоняет по городу.

Он выхватывает у меня талон, засовывает его в планшет, бормочет:

— Копаются, черти...

Потом бьет ногой пусковую педаль, будто пришпоривая мотоцикл. Двигатель взрывается оглушительным треском. Черные краги плотно ложатся на концы никелированных рогов.

— Приписное смотри не забудь!.. — бросает мотоциклист.

И облако пыли и синеватого чада уносит его дальше по улице.

В кухне меня обнимает мать. Лицо у нее мокрое, глаза красные.

— Может быть, это ошибка, — шепчет она. — Может быть, они что-то там перепутали. Тебе еще через два месяца восемнадцать, а призывают только с восемнадцати... Надо сходить, выяснить...

Я перечитываю повестку: «... надлежит в шестичасовой срок...».

Это приказ.

Первый в жизни военный приказ, который я обязан выполнить.

И никаких путаниц. Я ни разу не слышал, чтобы в военкомате ошибались.

Мать начинает суетиться. Она то бросается на кухню, то к шкафу с одеждой, то выбегает во двор, и все у нее получается как-то невпопад, не так, как всегда. И на меня она смотрит какими-то странными глазами, как будто я уже навсегда обречен. Меня это злит, и в то же время я понимаю ее: она остается одна, совсем одна в доме.

— Ты ешь побольше, — говорит она, когда я усаживаюсь за стол, и придвигает ко мне сковородку с картошкой и кофейник. Сама она ни к чему не прикасается, просто сидит напротив и смотрит, как я выбираю из картошки вилкой румяные кусочки сала. Мне тоже не особенно хочется есть. Только сейчас до меня доходит, что я долго, очень долго не увижу наши уютные комнаты, наш сад, нашу тихую улицу, наш город.

— Тебе лучше надеть старый костюм, — говорит мать. — В части вам выдадут обмундирование, а все гражданское сожгут. Они всегда так делают.

Я выпиваю кружку горячего кофе с молоком и начинаю собираться. В кладовке нахожу свой старый рюкзак, сильно полинявший от дождей и солнца. С этим рюкзаком я ходил в горы. Он был со мной в Баксанском ущелье и на Безенгийском леднике. Он видел тихий блеск Голубых озер и дышал воздухом Приэльбрусья. В нем я приносил из леса тронутую морозом рябину, янтарную алычу и рубиновый душистый кизил. Один из ремешков на карманчике оторвался, надо было пришить его, но я все время забывал. Ладно, можно обойтись и без ремешка, в крайнем случае его заменит веревочка. Кстати, не забыть иголку и нитку. Я знаю, как трудно без них в походах...

Фляжка у меня тоже есть. Хорошая, алюминиевая, обшита серым шинельным сукном. Настоящая военная. Если намочить сукно, то вода в ней долго останется холодной даже в самый жаркий день.

И просто необходимо прихватить с собой перочинный нож. Интересно, почему в повестке ничего не сказано про нож? Ведь нож солдату так же необходим, как кружка и ложка, может быть даже он важнее. Нож у меня тоже отличный. Клинок длиной больше ладони, настоящий кинжал. Мне его сделал отец на заводе из чудесной подшипниковой стали. В классе все мальчишки пробовали свои перочинники на моем. Мы рубили лезвие лезвием, и на моем никогда не оставалось зарубок.

Мне хотелось бы взять и компас, но он, наверное, не понадобится. В армии далекие переходы никогда не делают в одиночку. Нет, пусть компас останется дома. Когда я вернусь, он так же будет лежать на столе, напоминая о лесе, Безенге и Голубых озерах.

Все отобранное я складываю на письменный стол.

Не должно быть ничего лишнего, и в то же время это должны быть самые необходимые вещи. Например, блокнот и два карандаша. Фотографии матери и отца. И еще одну крохотную карточку, которую я всегда носил в записной книжке. Ее подарила мне Тоня Селина в тот день, когда мы получали паспорта.

Мать приносит два носовых платка и две пары носков, чистеньких, еще теплых от утюга.

— Я там отрезала тебе кусок шпига и сварила десяток яиц. Хлеб мы выкупим в магазине по дороге, я попрошу, чтобы нам отпустили на два дня.

Что такое? Уж не думает ли она меня провожать? Терпеть не могу, когда кто-нибудь меня провожает! А особенно когда слезы и всякие глупые сантименты...

— Мама, — категорически говорю я. — На призывной пункт я пойду один.

— Хорошо-хорошо, — быстро отвечает она и исчезает на кухне.

В письменном столе я нахожу свое приписное свидетельство. Маленькая, в четыре странички книжечка в серой бумажной обложке вроде членского билета санитарного добровольного общества. Фамилия, имя, отчество. Год рождения. В графе «Особые отметки» написано: «Окончил 110-часовую программу всевобуча при школе № 2».

Всевобуч — это всесоюзное военное обучение. Сразу после начала войны оно было введено по всей стране. Каждый служащий, каждый колхозник, каждый мальчишка в школе должен уметь стрелять, бросать гранаты, собирать и разбирать винтовку образца 1891 дробь 30-го года, владеть приемами штыкового боя, ориентироваться на местности и знать устав строевой службы. Каждая женщина или

девушка должна уметь перевязать раненого, сделать искусственное дыхание, наложить шину на переломленную руку или ногу, а также по-пластунски вытащить раненого из боя.

Нам, мальчишкам, очень нравилось военное дело. Все на этих уроках было четко и до конца понятно, не то что на физике или на химии. Да и на каком еще уроке можно было пойти на стрельбище и расстрелять обойму настоящих боевых патронов по поясной мишени?

А вот девчонки военное дело не любили и старались всякими способами отвертеться от полевых занятий. Но им это редко удавалось.

Ну вот, кажется, собрано все, что нужно. Не так уж много. Совсем небольшая кучка вещей. Займет не больше половины рюкзака.

...Что же еще взять с собой? Может, какую-нибудь книгу?

Я подошел к этажерке.

Разноцветные томики тесным строем стояли на полках.

В самом низу те, что давно уже не открывались, те, которые мне покупали, когда я был в третьем и четвертом классах. «Соленый ветер» Лухманова, «Животные-герои» Сетона-Томпсона, «Таинственный остров» Жюль Верна...

Полкой повыше — те, которые покупал я сам. Это уже шестой класс. Стивенсон, Дюма, Фенимор Купер, Джек Лондон. Я зачитывался далеко за полночь, иногда до самого утра, и тогда шел в школу, покачиваясь, плохо соображая, что делается вокруг. В те ночи я поочередно был то Джимом Хокинсом на острове сокровищ, то благородным д'Артаньяном, то отважным Ункасом или Мэлмутом Кидом. Я жил на атоллах

южных морей в хижине под пальмовой крышей, бродил по улицам средневекового Парижа в компании веселых гвардейцев роты Дэээссара, охотился на гризли в глубоких ущельях Аллеганских гор и грелся у костров в ледяных лесах Аляски. Это было золотое время первооткрывательства и романтики.

А в седьмом классе произошел резкий и неожиданный поворот. Я неистово увлекся Чеховым. Я охотился за его книгами повсюду, выменивал их на марки и на потрепанные выпуски Луи Буссенара, Райдера Хаггарда и Оливера Кэрвуда, невесть какими путями попадавшие ко мне. Вскоре Чехов занял целую полку. Здесь были тяжелые с золотом дореволюционные тома и простенькие сборники рассказов, обтянутые мышинового цвета дерматином, пухлые однотомники и совсем тоненькие книжечки, похожие на брошюры. Я с неохотой снимал их с этажерки. И если знакомые просили у меня почитать Чехова, я поспешно переводил разговор на Джека Лондона, Луи Жакольо или Густава Эмара, уверяя, что лучшего читива нет на свете.

Верхнюю полку занимали Пушкин, Лев Толстой, Лермонтов и Куприн. А на той полке этажерки, куда обычно ставится вазочка с букетом цветов, лежали Сервантес и Александр Грин.

То утро, когда я покупал «Дон Кихота», было необыкновенно прозрачным. Такие утра бывают на Кавказе только в июне. Отец накануне получил зарплату и выдал мне долгожданные два рубля. Я сразу же помчался в город и поспел как раз к открытию книжного магазина. «Дон Кихота» я прочитал давно, и теперь мне хотелось иметь собственную книгу дома. И вот он наконец у меня в руках. Огромный том в коричневом переплете, том толщиной в добрый

вершок. Я принял его из рук продавщицы с таким же благоговением, с каким рыцари, наверное, принимали меч во время посвящения. Я вышел из магазина, прижимая книгу к груди. Шел десятый час. Я был счастлив и сначала даже не обратил внимания на то, что люди не идут по тротуарам, как обычно, а стоят небольшими группами, напряженно к чему-то прислушиваясь. Я остановился возле одной из групп и тоже стал слушать. Звонящий металлом голос, который впоследствии мне так часто приходилось слышать, читал правительственное сообщение. Сначала я не мог вникнуть в смысл слов, грозно раскатывающихся по улице. Я воспринимал их отрывочно и бессвязно, как воспринимаешь обычно всякий текст, который слушаешь не сначала.

«...Немецко-фашистские войска без объявления войны... вероломно напали на нашу Родину... атаковали наши границы во многих местах... бомбардировали со своих самолетов наши города...».

«Германия? Нет, почему же Германия? Ведь у нас с ней договор о ненападении, — пытаюсь сообразить я. — Как же это они решились?..»

А серый рупор уличного динамика продолжал греметь: «...подверглись бомбардировкам Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие города и населенные пункты...».

— Что случилось? — спросил я стоящего рядом со мной мужчину.

Он посмотрел в пространство поверх моей головы.

— Война.

Сообщение давно уже кончилось, уже начали передавать какую-то медленную, сжимающую сердце

музыку, а люди все стояли, растерянные, оглушенные, не веря в то, что произошло.

...Прекрасно-безумный идальго из Ламанчи! Так получилось, что ты, поднявший копье свое против рутины и пошлости и против несправедливости человеческой, оказался связанным для меня с началом этой войны...

Нет, не надо никаких книг. Наверное, и времени не будет читать. Вот бинт надо взять. И маленький пакетик ваты. На всякий случай...

К двум часам все наконец было собрано.

Мать снова заставила меня сесть за стол. Поставила передо мною тарелку с котлетами, мисочку с малосольными огурцами, вынула из шкафа бутылку медовухи и стопки.

— За то, чтобы все было хорошо! — сказала она. — За то, чтобы поскорее кончился этот кошмар. За то, чтобы мы победили.

Медовуха приятно обожгла горло. Мать готовила ее по какому-то особенному рецепту — варила вместе мед, водку, корицу. Чудесные запахи после этого долго жили в комнатах. Последний раз мы пили медовуху, когда провожали на фронт отца. И вдруг я вспомнил, что тогда был точно такой же солнечный день, такая же стояла тишина в доме и у двери стоял такой же рюкзак, снаряженный для дальнего пути. И мать так же смотрела на отца, как смотрит сейчас на меня.

...Где-то сейчас отец? По каким дорогам носит его война? За последние три месяца он прислал только одно письмо...

— Ну, вот и все, — сказала мать, когда мы пообедали. — Время идти.

2

У ограды военкомата волновалась большая толпа. Во двор пропускали только призывников, провожающие оставались снаружи. Они тянулись через невысокий забор, перекрикивались с теми, кто находился внутри ограды, передавали какие-то свертки, перебрасывали яблоки.

День уже развернулся во всю ширину свою. Небо стояло над городом глубокое, синее. Солнце обдавало лицо сухим жаром. В редкой тени белых акаций, которыми был обсажен военкоматовский двор, на пыльной траве сидели и лежали призывники. Некоторые дремали, некоторые, развязав мешки, закусывали. У водопроводного крана, из которого текла немощная струйка воды, выстроилась очередь.

Я протиснулся через толпу во двор.

Призывная комиссия работала прямо под открытым небом. За канцелярскими столами, поставленными в ряд у стены военкоматовского здания, сидели военные в полевой форме и гражданские. Каждый стол был облеплен притихшей стайкой призывников.

Я подошел к первой стайке и стал слушать, о чем говорит седой, очень похожий на нашего учителя географии капитан.

— Ну, а кроме авиамоделизма и легкой атлетики ты чем-нибудь еще занимался? — спрашивал он худенького остроносового парнишку.

— Еще шахматами...

— В лапту он еще играет, — подсказал кто-то. — В чижика может. И в чехарду...